

Мы ссыпáли в пакеты кисти, краски, заталкивали туда же крохотные складные табуреточки, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Впереди скользила высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица. Скользила широченными шагами, не оборачиваясь и не сбавляя темпа, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.

Вокруг роняли листву клены, под ногами шуршало. Тянуло теплой, душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, призраком проплыл забытый фонтан — изъеденный трещинами и мхом, — а мы все шли и шли, и конца не было видно этому золотому царству.

Впереди, за стволами, замелькала местная достопримечательность — медведь Константин. Это было допотопное — когда-то белое, а ныне серо-зеленое — изваяние в виде огромного медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая тонкая осина, недавно только пересаженная вглубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, ожидая объятий. У медведя были удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, и все это придавало ему нелепый вид — смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету. Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами, так и было написано: «скульптор Константин В. — в дар навеки любимой *alma mater*». Вернее, так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же, по странной прихоти судьбы (или хитрых пэтэушников) все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.

— Смотри! — зашипел Вовка.

Он кинулся к Константину, выхватил из-за пазухи черный пластмассовый пистолет и шарахнул пистоном в маленькое серо-зеленое ухо.

— Володя! — окликнула его Спица, не сбавляя шага. — Это неуважительно по отношению к художнику и жестоко по отношению к животному.

— Я — Дубровский! — закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Птицы сорвались с веток и заметались в панике.

— Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, — сообщила мраморным тоном Спица и ускорила. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.

Вовка юркнул к нам.

— А кто такой Дубровский? — спросил я.

— Какой-то солдат, — ответил Вовка. — Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в уху.

— А что ему этот медведь сделал? — вклинилась розовощекая Оля Петрова. Вовка закатил глаза.

— Какая разница? — потряс он рукой. — Это же война!

— Молодые люди! — пронесся над нами голос Спицы. — Все ко мне!

Это означало, что парк закончился и сейчас надо будет перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.

Спица сняла очки, подышала на стекла, потеряла их голубым платочком и вернула на переносицу. Потом отбросила со лба непослушную прядь.

— Молодые люди, если хоть кто-нибудь (пауза) из вас (пауза) позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами, (пауза) я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины. — Она обвела нас холодным взглядом. — И в этом будете виноваты (долгая пауза) только вы.

Спица уже тогда — в тот год ей исполнилось тридцать — была самым известным в нашем городе художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, про нее время от времени писали в газете и поговаривали даже, что ее знают и ценят чуть ли не в Европе. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнилась она, всю нашу младшую группу с позором бы изгнали из города.

— И нам бы пришлось скитаться по лесам, жить в землянках и есть лягушек, — расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему. — Вот была бы жизнь!

— А теперь все прижались ко мне, как к родной матери, — она развела руки, как птица, собирающая под свои крылья птенцов, — и шагом марш на ту сторону!

Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение — кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянуласе себе спокойно вдоль насыпи, а метров через десять отчаянно изгибалась и пересекала пути.

Пыхтя и сопя — спокойствие сохранила только Спица, — мы подобралась к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец — это означало требование тишины, и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но в наших детских глазах казалась горной грядой.

Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались наверху.

На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо — широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под ног в обе стороны убегают рельсы — далеко, насколько хватает глаз. Мы жмемся к Спице, а она стоит, как колокольня, смотрит вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу. Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку — тонкую и легкую руку художника — бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то остутился, и с насыпи покатались с радостным стуком камешки.

— Не зеваем, — скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.

Мы слетели вниз и горохом рассыпались по тропинке.

А затем нам предстоял долгий путь через бесконечные рощи и поля в поисках подходящего вида. В рощах было сыро, по полям гулял ледяной ветер. Небо как нарочно растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто за-

штукатуренным; наличие солнца угадывалось по вытертому светлому пятну в облаках. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а атакующая, уже почти отжившая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыпавшиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.

Спица летела вперед, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она летела так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось — погода играет против нас, и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, теперь же над нами шутила осень, оставшись в городе, вместо того чтобы пойти следом.

— Галина Игоревна, — пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, — давайте сегодня парк порисуем.

— Оленька, — не оборачиваясь, отвечала Спица, — если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.

— Проверь, но не доверяй, — шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.

Вовка вдруг кинулся вбок, и в Олю полетело что-то серое.

— Крыса!!!

Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередине дороги. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал швыряться дохлыми крысами?

Но нет, обошлось. Приглядевшись, я узнал в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой. Вовка пополам сложился от смеха.

Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам и шумно выдохнула.

— Володя, — медленно протянула она, закрыв глаза.

Вовка вышел на дорогу.

— Володя, — повторила Спица.

Вовка насупился. До голени его брюки были мокрыми от травы.

— Простите, Галина Игоревна, — промямлил он.

— Не. У. Меня, — не открывая глаз, отчеканила Спица.

Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь.

— Оля Петрова. Прости. Меня. Пожалуйста, — прокричал он и сунул руки в карманы.

Оля, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти — словно и они тоже испугались и пытались сбежать.

— Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, — спокойно проговорила Спица, — но это чуть позже. Молодые люди, — она подняла вверх руку, — рассаживайтесь и доставайте краски.

Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаясь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывавшие из травы, с другой — поодаль — взгляд наткнулся на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жавшиеся друг к другу. Насколько хватало глаз, расстилось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхавшее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с таким же серым небом, по которому тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели домики.

— Молодые люди, — нарушила тишину Спица. — Я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка начинать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую — в студии.

Мы в молчании, переглядываясь, — а не сошла ли Спица с ума? — повтыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти. У каждой табуретки возникла баночка с водой, краски бросали тут же, под ноги.

— Надо было в такую даль тащиться, — пробурчал Вовка, придвигаясь ко мне, — писали бы сразу заводскую стену.

— Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, — оборвала его Спица. — Переместись, пожалуйста, во-он туда, — она махнула рукой за наши спины. — Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.

Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался около минуты с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.

— Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета, — совершенно серьезно наставляла Спица. — Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, — интонация пошла вверх, — она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.

Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Варезка одиноко и как-то виновато темнела у его ног.

— Остальные пишут пейзаж под названием... — Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок. — «Осенняя дорога».

И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось все темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть результат, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не пылали золотом клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь — унылый серый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот.

Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица поторопилась, что мы были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента нельзя было и найти. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве — незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который ничему постороннему не было входа.

Спица все это знала, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в музеях. Теперь мне кажется, что свои лучшие картины она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность — если и был среди нас человек, неготовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее — а точнее, она от него — чьей-то рукавицей.

А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой бисером рассыпался по всему ландшафту, серая даль была не-

понятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали были тишина и ожидание, в ней были будничность и грусть, в ней были неудовлетворенность и неустроенность, отсылавшие к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, и в этом, наверное, и заключалась ее суть — она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.

Все это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя — это я понял потом — училась тишине и чуткости.

Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.

Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг моргнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:

— Сворачиваемся, молодые люди!

Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали наш инвентарь и — с сырыми еще эскизами в руках — готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, все дул на свой натюрморт, даже мне отказался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» в пакет.

Спица нарушила всеобщее молчание лишь у самых путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. На вершине гряды, когда нога моя запнулась о шпалу, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.

Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорилась.

По возвращении стало известно, что, пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. — он проездом оказался в родном городе и нанес визит «навсегда любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар, и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и все время путал имена своих наставников. После — ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загородив осину, и смотрел.

Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.

«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из коридоров, но провисела недолго: часть помещений, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок — кружки и секции расселяли по соседним кабинетам — наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих раздумий отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю варежку» лишь раз — через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках работы на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».

Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под крытый теннисный корт. Бело-голубая коробка, в которую вместилось бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала.

На вопрос о месте переезда он пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.

Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» — стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.

Печь занимала треть кухни — белая, теплая и мягко-шершавая — будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.

На печь можно было забраться — по узенькой лесенке сбоку — и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне — например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеивался. В гнезде можно было дремать, укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.

А дед в гнезде слушал радио.

Зайдет на кухню, под мышкой личное сокровище — древний увесистый радиоприемник под дерево, с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, покряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет — и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижимает его к уху — иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится.

— У вас, — говорит, — руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя.

— Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, — смеется отец, — рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.

— В голове у тебя рухлядь, — отвечает дед, — а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.

Отец все смеется, не спорит.

По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо — и мы исчезали.

Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмется к коробке — и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает — весь там. Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков, что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает, да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит — раскатисто, с переливами. Отец тогда выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается — сползает по лесенке, ковыляет к себе.

Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла-постояла да и ушла.

За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.

Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу — наблюдает.

В печке трещит тихонько. Солнце — за забором уже, а облака все горят. Жду. Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал kota по спине, пробормотал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.

Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше — густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папахе остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдаю, наблюдаю да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.

Просыпаюсь от голосов.

— Не позволю! — скрипит дед и стучит кулаком.

Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая вьются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.

— Батя, — басит он, — ну на что она тебе?

— Не позволю, — бубнит из-за бороды дед. — Вот помру — хоть весь дом разбирайте.

— Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.

— Пушай смеются.

— Что ж ты так уперся-то?

— Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальчикам она по душе, — тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.

Отец вздыхает.

— Чудак ты, батя, стал, — говорит, — совсем чудак.

Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.

— Слезай, шалупонь.

Я тру глаза и соскальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жметесь ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная как шар, блестит в свете лампы.

Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки вглубь дома.

Той ночью меня разбудил грохот — дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.

Вошел в комнату отец — в верхней одежде, не разувшись.

— Марш спать, — приказал он нам с братом.

Взял деда под локоть и повел в коридор.

Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:

— Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?

Мы к соседке не хотели

— Ты за старшего, — сообщила мать брату и ушла.

Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мял подушку, а потом тихонько встал.

— Ты куда? — спросил сквозь сон брат.

— В кухню, — и я зашлепал босыми ногами по полу.

Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.

Я нагнулся, поднял. Повертел, приложил к уху — там неразборчиво шипело. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.

В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим — ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки — и до моего слуха донеслась более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здоровое разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.

После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди — приятные и не очень.

В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.

А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за бороды и показывает торжествующе ладони — то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.

Наутро отец привел домой рабочих — и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда — и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.

